

Александр Куприн

# Бредень



Александр Куприн

**Бредень**

«Public Domain»

1933

## **Куприн А. И.**

Бредень / А. И. Куприн — «Public Domain», 1933

«Молодой ученый агроном, Василий Васильевич Воркунов, возвращался не спеша домой, в черникинскую удельную усадьбу. У ноги его устало плелся рыжий, в белых пятнах гончий выжлец Закатай, выпустивший почти на пол-аршина красный мокрый язык. Три затравленные русака болтались у Воркунова через правое плечо, а левое плечо оттягивало тяжелое ружье, давившее на ключицу...»

© Куприн А. И., 1933

© Public Domain, 1933

## Александр Куприн

### Бредень

Молодой ученый агроном, Василий Васильевич Воркунов, возвращался не спеша домой, в черникинскую удельную усадьбу. У ноги его устало плелся рыжий, в белых пятнах гончий выжлец Закатай, выпустивший почти на пол-аршина красный мокрый язык. Три затравленные русака болтались у Воркунова через правое плечо, а левое плечо оттягивало тяжелое ружье, давившее на ключицу.

Было тепло, всего градусов восемь-девять ниже нуля по Реомюру. Далекие снега без границ казались то скучно зеленоватыми, то вяло желтоватыми, а в глазах медленно плавали черные точки. Мысли текли сонно и несвязно.

Думал агроном о петербургском сельскохозяйственном институте, о практических работах, о том министерстве, к которому он был причислен и которое в насмешку называлось «министерством непротивления злу».

«И в самом деле, что за нелепое, что за глупое, что за трагикомически бесцельное учреждение! Каждый день, каждый час, чуть не каждую секунду извергает оно сотни тысяч указаний, приказаний, запрещений, советов, распоряжений, незамедлительных мер, имеющих в виду блестящее возрождение всероссийского хозяйства. Но, увы, весь этот непрерывный бумажный труд легко укладывается в пять-шесть слов, с которыми в „Плодах просвещения“ светский балбес Вово обращается к деловым, серьезным крестьянам:

– Вы бы, мужички, сеяли мяту. Э... Вы бы мяту сеяли.

«Да, – размышляет Воркунов, – образцовую, показную ферму, конечно, можно оборудовать с блестящими результатами и даже на удивление высоко культурным европейцам. Но, во-первых, дайте мне для этого эксперимента ровный, спокойный климат, не грозящий ни дьявольскими засухами, ни внезапными сорокадневными потопами, ни апокалипсическими нашествиями саранчи; во-вторых, найдите для этих агрокультурных выставок такой глубокий слой природного чернозема, который проникает вниз на две сажени. Но таких сказочно плодородных земель теперь уже не отыщешь нигде на огромных пространствах России: ни в южных богатых степях, ни в баснословных хозяйствах Сибири и Присибирья. Все оскудело, обеднело, захирело от лени, неумения, дикой жадности, от дурацкого закона: день – да мой. Иностранцам хорошо. У них для удобрения годится все, что способно гнить и давать химические результаты для оплодотворения.

Там еще гуано перевозят через океан, сотни тысяч тонн гуано; там в мельчайшую пудру размельчают миллионы пудов всяких фосфатов. Там и сушеная бычья кровь, и рыбные остатки, и устричные раковины ценятся, как отличнейшие удобрения, и человеческий помет стоит на высоком месте. Что же касается до самого ценного удобрения, лошадиного помета, то надо только представить себе, сколько его могут дать слоноподобные арденны и першероны, и притом какого несравненного качества.

Но, к сожалению, все эти замечательные пособники оплодотворения и мощного произрастания растений, увы, совсем не для русского жалкого хозяйства. Надел крестьянский оскорбительно мал: в пору быть сытыми до следующего ярового посева. Удобрят мужики землю исключительно лошадиным навозом. Но что уж может дать крестьянская лошаденка ростом с телка, худая, изморенная, весом не больше шести пудов, всегда худо кормленная, измученная непосильной работой и скверными, ухабистыми, болотистыми дорогами.

И нечего хвастать, что Россия – житница мира, величайшая хлеборобная страна... Правду сказал один великий агроном, когда говорил:

– Нет такого голого и бесплодного куска земли, пусть даже это будет холодная скала, – где бы опытный и трудолюбивый хозяин не мог развести прекрасный сад, отличного цветника и хорошего огорода.

Да! он сам, Василий Васильевич Воркунов, ученый агроном, и до сих пор еще глубоко верит в то, что если бы дружно, усердно, умно и честно взяты за дело, то со временем не так уже невозможно сделать Россию первой страной в мире по хлеборобию. А тогда уж долой войны. Как какие-нибудь государства начнут рычать о войне, так Россия – хлоп! – и закроет хлебный амбар. «Нам надо делом заниматься, а вы там себе деритесь сколько вашим душенькам хочется. – Воркунов глубоко вздыхает. – Но только, ох, как много для этого мирного счастья надо!

Первое – все проселочные дороги вымостить крепко-накрепко и обсадить деревьями. Возможно же это было за границей, а в старые времена и частным владельцам по личной инициативе. Второе – научить крестьян строить избы из кирпича; скажем, сначала фундаменты и бани, а хлева и амбары из камня с известкой. Молодых инженеров путей сообщения и строителей посылать без всяких церемоний в деревни отслуживать свой практический стаж. А рабочей силы в России – сколько хочешь. Да, видел я шлюзовые огромные постройки на Мариинской системе и на Сайменском озере. Кем построено? – Солдатами и арестантами.

А в-третьих: во что бы то ни стало выработать средний тип сильной и выносливой крестьянской лошади, не такой, которая бы все мужичково хозяйство пожрать могла, а хоть бы такой, какую Петр вывел в Вятке от чухонских лошадей... ну, скажем, немножко покряжистей.

Что здесь мудреного? Ведь производили же русские поля и русский овес тяжеловесных битюгов, великолепных скакунов, отличнейших рысаков и превосходный материал для кавалерийского ремонта. Но одно дело спорт и забава, и совсем другое – рабочая лошадь хозяина-хлебороба. Последняя-то будет существенней!

Да и образование мужику необходимо. Только не та хурда-мурда, которой его пичкают в начальных школах и которую он забывает на шестнадцатом году. Нет, дайте ему познания о правах и обязанностях, дайте понятие о свободе, и справедливости, и о высоком человеческом достоинстве. А уже после, после этого духовного воспитания, не бойтесь щедрыми руками вливать в его мозг, в его глаза, уши, руки и в память сколько хотите научных знаний, ремесел и привычек; надо только, чтобы каждое из них имело ясное, живое и прочное практическое применение к жизни и к работе. А уже после этого искуса, без всякой церемонии, нарезать всю землю, способную плодоносить, во владение тех хозяев, которые будут способны обращаться с нею наиболее умно, любовно и продуктивно. Ведь подобным же образом строгий и мудрый отец отдает свою дочь не пустому лодырю, болтуну, лгунишке и гуляке, а человеку здоровому, толковому, работающему и сильному, который и дому верный рачитель, и жене заступник, и детей наплодит крепких, как огурчики».

Дойдя до этой мысли, Василий Васильевич Воркунов вздыхает, громко чмокает языком и крутит головой.

«Вся суть в том, – говорит он самому себе, – что министерство „непротивления злу“, вместе со своим облесением оврагов, осушением болот, ручьев и речек, задержанием таяния снегов, с опытами грядкового сеяния ржи по Демчинскому и по китайской системе и со всякими другими фокусами в банке, так же нужно трудолюбивому и трезвому мужику, как собаке пятая нога. Да, пожалуй, и все мы, интеллигентные помощники и руководители, ему не надобны: ни я – агроном, ни господин Лесницын, ни дохтур, ни витилинар. Все равно нас всех одинаково будут топить и резать в первую голову во время первой эпидемии.

А почему? да просто потому, что как бы добры и благожелательны ни были, а все-таки мы люди в штанах навыпуск и, значит, у мужика никаким кредитом и никаким доверием не пользуемся со времен крепостного права, а еще больше с крестьянского освобождения, которое было настоящим разделом между медведем и мужиком. При помещиках-то мы еще кое-как

жили. А пришел конец крепостному праву – тут-то мы и захирели. Свободы-то нам только хвостик показали, а землю совсем обидели, и нет ничего удивительного на свете, как эта неумирающая коллективная память народа. Не только крепостное право помнят до сих пор, еще поют про Ивана Грозного, про Петра Первого, про удалого казака батюшку Степана Тимофеевича и Павла Первого добром вспоминают.

А по какой причине? К боярам были жестоки выше всякой меры.

Вот тебе и ходячая русская история. И при чем же в этом космосе мы, приبلудные агрономы? Уж одно здесь страшно, что ведь мы и разговаривать с мужиком не умеем, а не только учить и просвещать его. И ведь что обидно: для своего обихода, для своих несложных надобностей русский крестьянин обладает языком самым точным, самым ловким, самым выразительным и самым красивым, какой только можно себе представить. Счет, меры, вес, наименования цветов, трав и деревьев. Рождения, свадьбы. Похороны, ездая упряжь, все подробности до мелочей домостроительства и домохозяйства, одежда и обувь, еда и питье, все носит у мужика названия, наиболее краткие, удобные и легкие для памяти и произношения. И тут же инстинктивная работа языка над фонетическим благозвучием.

Воркунов не может удержаться, чтобы не вспомнить несколько выразительных слов; вот, например, как называют родню: братовья, мужевья, деверья, сватовья. Вот бычки в различных возрастах: бычок молочный, бычок лонешный, бычок зеленятник, бычок нагульный и потом уже бык, которого почему-то часто зовут Афанасием.

Очень хорошо также слушать, как в осенние тихие вечера, после тяжелой летней страды, беседуют дружно между собою на завалинках пожилые почтенные мужики. Что за прекрасное течение речи, полнозвучной, русской правильной речи, не нарушаемой ни мычанием, ни искусственным кашлем, ни аканьем, ни умышленным повторением слов, ни дурацкими вставными словечками, ни заиканием. Все, что нужно сказать, говорится кругло, веско, и слова сами ложатся на полагающееся им место без натяжки. Мудрое слово импровизируется тут же на месте в виде краткого поучения, забавного сравнения, рифмованного афоризма, меткой характеристики:

«Ты его считай за апостола, а он хуже кобеля пестрова», – и нельзя уже тут соваться со словом мало взвешенным или почерпнутым из барско-лакейского лексикона. Сейчас же оборвет какой-нибудь из строгих словесников:

– Говорок, говорок облизал чужой творог.

Или еще того хуже: обзовут отцом-языкантом.

Здесь, на этих тихих беседах, ревниво и тщательно берегут чистое слово. Недаром же у Пушкина и у Даля так красиво, богато, гибко и послушно русское слово. Оба они начатки его выпитали в себя в русской деревне еще в младенческие дни своего земного бытия.

И тут уж с легкой горечью говорит сам себе немножко усталый Воркунов:

«Язык-то мужицкий мы, Божьим попушением интеллигентны, отлично и даже с наслаждением понимаем, но когда покушаемся на нем говорить, то выходит у нас вроде Петрушкина ломания: невнятно, смешно и позорно.

И мужик, в свою очередь снисходя к душевному убожеству человека в штанах навывпуск, старается объясняться с ним черт знает на каком путлястом, нелепо напыщенном, перековерканном наречии, на котором ни мужик, ни барин ровно ни звука не могут понять.

А тут еще министерство «непротивления злу» рекомендовало на днях Воркунову озаботиться немедленно распространением среди крестьян ревеня, как дешевого и полезного варенья, а также культивизацией волчьих ягод на предмет изготовления из них замечательного слабительного средства «каскара саградо».

– Нет, черт возьми! – громко восклицает агроном. – Сегодня же напишу бумагу с просьбой об увольнении из министерства.

В этом саморазговоре молодой человек не успел заметить, как его утоптанная тропинка постепенно подымалась вверх, и только теперь понял, что он взбирается на пологую горушку, которую местные мужики называли Поповкой, а молодые охальники Поповым пупом, потому что на ее верху испокон времен селилось духовенство деревни Тристенки.

Гончий пес, учуяв людей, с лаем помчался вниз. Воркунов пошел следом за ним, перемещая движениями плечей натрудившие кожу ремни.

Под ним высились: закутанная снегом водяная мельница, а неподалеку от нее – две синие луковицы церкви.

Посредине протекала обычно речонка Зура, но теперь она замерзла и лежала ровным белым платом, на котором Воркунову мерещилось какое-то неясное темное движение.

«Это я много нынче на снег нагляделся», – подумал агроном.

Высоко на небе выплыл серебряный молодой месяц, дальние облака на востоке окрасились в стальной, с румянцем, свет; заметно похолодало. Гончая собака прибежала снизу, потерлась о ногу и точно доложила хозяину – гав, гав, гав, гав, внизу какой-то народ, пойдем посмотрим!

Воркунов спустился по горушке. Еще издали приметил он все выраставшую при его приближении черную толпу. Слышен уже был бестолковый пляшущий галдеж, по которому легко узнать обеспокоенных мужиков.

«Это, вернее всего – тристенские молодчики. Они первые заводиловцы на всякий шум и разногласие. К тому же они с помещиком уже давно тяжбу ведут по поводу этого рукава Зуры. Что и говорить – лихие парни».

Он не ошибся. Тристенские мужики облепили реку по льду и по берегам. Все глухо орали, стараясь перекричать один другого. Вблизи услышал агроном и отдельные голоса:

– Чаво ты лезешь? Говорят тебе, что непременно тянуть надоть, пока морозом по краям не прилепило!

– Да! Потянешь ты! А может, сеть-то за корягу зацепилась. Тебе легко говорить: тyani, а если опчественный бредень разорвать, так тебе и горюшка мало, трутень ты безмедовый, захребетник ты мирской.

– Чаво ты лаешься, непутевый. По-твоему, оставить бредень до весны в воде, прогниет, а ему цена-то вон какая, братец ты мой, цена агроматная. Уж тут как хочешь, а тянуть нужно.

– Мырнул бы кто-нибудь, кто посмеляе, – посоветовал робкий голос.

– А ты вот и мырай, ежели этакий нашелся. Там ведь глыбь-то какая, сразу тебя в кружало занесет.

Воркунову и скучно и досадно стало слушать мужичью руготню, пересыпаемую бессмысленными матерными словами. Он увидел вдали от мужиков молодого псаломщика тристенской церкви и подошел к нему.

– Не знаете ли, что у них там вышло?

– Да просто – мужичья неразбериха. Захотелось тристенским живоглотам к Рождеству Христову рыбки половить, чтобы рыбкой полакомиться, стало быть. Завели они компанейский бредень под воду. Сначала-то у них все шло как следует. А потом вдруг заело сети. Ни туда ни сюда. Стоит бредень на одном месте, и шабаш. Вот уж четвертый час возятся с ним мужики – и ничего. Круглый шабаш.

Воркунов помолчал немного, а потом спросил с любопытством:

– Неужели зимой ловят рыбу бреднем? Я этого никогда не видел и даже не слышал об этом.

– Да, признаться, и я в этом деле не больно большой знаток. Так только видывал кое-когда. Штука из не особенно легких. Нужна здесь и большая ловкость и порядочная опытность. А делается эта ловля приблизительно так: пробивают на разных концах две нешироких проруби, одну для входа, другую для выхода, а по бокам реки выдалбливают с одной и другой

стороны по три, по четыре сквозных кружков. В первую, значит, прорубь втискивают голову бредня, увешанного плоскими камушками, и дают бредню ход вперед. А чтобы бредень шел беспрепятственно и прямо и чтобы он в воде не скукоживался в веретено, а имел бы широкий раздол, то для этого у проделанных кружков стоят рыбаки, направляльщики. У каждого в руке такая особая палка с рогулей на конце. Вот этими рогулями они и направляют движение. А как дошла голова до второй проруби, то уж тут и весь бредень легко любым крюком на берег вытянуть. Улова, особенно богатого, тут, разумеется, ждать нельзя, потому что все делается как бы с закрытыми глазами, да, кроме того, рыба, какая любит прятаться в глубоком иле, на дне, так она наверх идет совсем неохотно. А все-таки в такой старательной речушке, как Зура, пудов до двух, а пожалуй, и до трех можно заграбастать за милую душу. Был бы счастливый улов да дошлые толкачи для бредня.

Тут псаломщик остановился говорить и начал пристально и внимательно вглядываться в подошедшего высокого и очень тучного человека.

– Это Владимир Порфирыч из Никифорова, – сказал он. – Никак к вам идут, господин агроном...

Воркунов знал немного этого грузного великана, богатого лавочника из Никифоровской волости, который продавал на весь Устюженский уезд хомуты, дуги, кнуты, веретена, деготь, деревянное масло, керосин, свечи, серные спички, рукавицы и варежки, деревянную посуду, чрессидельники холуевские, образа и иконы, рыболовные крючки, разные пестрые материи для баб, валенки, самовары и тазы, стекла и другие разные вещи, необходимые в крестьянском обиходе; и одновременно скупал во всех деревнях муку, крупу, мед, бабью точку и вязь, а понемножку и земельные куски у разорявшихся помещиков. Считался он уже в двадцати тысячах, и мужики оказывали ему полупрезрительное почтение.

Он протянул Воркунову лопаточкой негнувшуюся пухлую руку.

– Господину агроному наше глубочайшее. Какая у нас незадача-то вышла с бреднем. Никак его с места не стронем. Тут, я слышал, чего-то говорили насчет того, чтобы какой-нибудь удалец решился бы под воду мырнуть и там ослобонить затор. Да ведь кто же на такой рыск пойдет. Одно – что зима, а другое – дело-то уже к вечеру идет, чуть не к ночи. Я, как пайщик главный в бредне, сулил тому молодчику, кто отважится мырнуть, целые пять целковых в вознаграждение. Да нет, не находится охотника. Мы и так послов послали к мельнику, к Прову Силычу. Если он не согласится порадеть для мира, то нашему бредню совсем каюк будет.

– Да ведь он совсем старик? Куда ему? – сказал с сомнением Воркунов.

– Какое там старик, всего семьдесят годов, а на каждую Иордань, после водосвятия, трижды окунается в реку с головой. От снохачества своего очищается. Ведь они, мельники-то, слова такие тайные знают. А Пров-ат Силыч такой завидной крепости мужик, что у него и в сто лет все зубы и все волосы в целости останутся. И еще кое-что другое. Эх, только бы соблаговолил, умягчился. Ведь вот тристенские-то охаверники! Всегда сами себе на беду натворят всяких пакостей, натворят, а потом винятся, сукины сыны. Летось пристали без короткого к Прову Силычу, что мол-де на помол их дюже обижает, и все была одна брехня. Мельник человек суровый, однако в своем деле очень справедливый. Ах, дай, Господи, чтобы теперь прошлого зла не помятовал. Мы, уже простите, Василий Васильевич, на вас сослались, послали сказать, что будет-де смотреть ученый агроном из Санкт-Петербурга. Может быть, и в газетах нас пропечатают с поощрением.

– Да позвольте, как будто бы народ чего-то задвигался, никак привели его.

И действительно, через несколько минут Воркунов услышал глухой быстрый ропот, в котором выделялись отдельные голоса: идет, идет, идет, идет...

Воркунов протискался вперед, к первой проруби, к которой одновременно с ним подходил и мельник. Это был не очень высокий человек, но широкогрудый и широкоспинный и весь какой-то мощно кряжистый. На нем была теплая, гречником, шляпа, волчья шуба на плечах,



романовские валенки, обшитые кожей, на ногах. Рыжая проседь чуть золотилась в его волосах, белых и еще молодых.

Приближаясь ко льду, он еще на ходу продолжал ироническую торговлю с лукавыми тристенскими мужиками:

– Я вам в сотый раз говорю, что все шуки мои. Сказано – и баста.

– Да помилуй, Пров Силыч, – настаивали тристенские, – по всей по речушке по Зуре, почитай, только одни шуки и водятся. И придется нам после тебя только хвост облизать.

– Брешете, пострелы, – спокойно, густым басом возражал мельник. – А лещ, а подлещик, а окунь, а плотва, а ерш? А пескарь-та? А шелеспер? А налим? Все ведь ваше останется, да еще с каким избытком. А я сказал – моя шука; быть по сему. Да вы еще, хитрецы этакие, своего бредня сюда не присчитали.

Поторговались, пособачились еще немного и решили послушаться дедушку Прова Силыча. Ведь не пропадать же дорогому бредню.

Но мельник не сразу утих. Он громко позвал во свидетели договора купца Владимира Порфирыча и Василь Васильича, агронома.

– А то у этих шильников слово-то не больно крепкое. Так в случае я их и к мировому притяну.

И самым спокойным образом стал отдавать распоряжения:

– Вы, отцы и дяденьки, сделайте-к прорубь на чутолочку поширше, обрубите мало-мало топорами, чтобы мне под воду лезть было способнее. А вы, молодые кобельки, натаскайте хвосту и сухостоя, чтобы костер на берегу разложить, а и мне над головой свету давать. А к вам, господин агроном, у меня будет серьезнейшая просьба: когда буду под воду спускаться, то будет у меня в руке тоненький канатик, а другой его конец я уж вас попрошу непременно в своей руке держать и по нужде потравливать. А как я вам тревожно задергаю сигнал канатиком, то, значит, задыхаюсь или устал. И тут вы меня, ваше благородие, начинайте подымать кверху, а если не осилите, то заставьте этих молодых лоботрясов помогать.

Этот, точно сильный, старец не суетился, не торопился и не терялся. Его приказания исполнялись с необычайным толком. Еще на берегу он проверил сравнительную натянутость вытащенных наружу сетей бредня. Потом снял с себя шубу и романовские валенки, оставшись только в портках и в холщовой рубахе.

– Господи, благослови! – сказал он, взявши в одну руку кирпич, а другой рукой подав конец веревки агроному. – Ныряю.

Густо бухнуло его тело в прорубь, и быстро побежала веревка в руках Воркунова...

Кто не знает о том, как невероятно быстро мчится час, когда каждая его секунда драгоценна, и как мучительно длинна секунда, когда ее отягощает ужас, боль или жадное ожидание. Воркунову казалось, что прошло ужасно много времени с того момента, когда мельник шлепнулся в воду и исчез в ней. Веревка не двигалась. Она только слабо двигалась поверху, не давая знать о себе.

«Господи! – думал Воркунов. – Уж лучше бы я сам вызвался распутать этот затор, чем допустить глубокого старика лезть под воду. Какая же я самолюбивая свинья».

И опять шли часы, и так же была в руке агронома недвижима веревка, колеблемая лишь дыханием воды.

Уж не задохнулся ли, не умер ли этот бело-рыжий могучий дедушка? И вдруг – краткий толчок. Точно упала ягода, точно клюнула мелкая рыбешка. И еще, и еще, с каждым разом сознательнее и сильнее вздрагивает веревка и сразу переходит в настойчивый отчаянный призыв: наверх! наверх! наверх!

Воркунов, точно очнувшись, принялся торопливо сматывать веревку. Странно легким, едва-едва весомым показалось ему, в первые захваты, большое мясистое тело мельника. Уж не умер ли? Но оно тяжелее с каждым подъемом, и когда стало уже непосильным для одного

человека, то на берег выскочил огромный, точно ломовая лошадь, мокрый Пров Силыч, фыркающая, громко дыша, шлепая ногами и разбрасывая вокруг себя бурные клубы воды.

– Шубу! Валенки! – крикнул он, задыхаясь. – А коряга-то – она вот она, которая задерживала. Теперь с Богом! Ведите свой бредень. Только рты-то не разевайте.

Он произносил эти слова через тяжелые промежутки, шумно вдыхая и выдыхая воздух: фуаф! фуаф! фуаф! – раздавалось из его груди, как из локомотива.

– Господин купец, – обратился он к Павлу Порфирьичу, – сделай милость, пошарь в моей шубе малый карафинчик с водкой, а то у меня руки совсем облубнели.

Какой-то молодой мужик спросил любопытным и восхищенным голосом:

– Дяденька Пров Силыч, а оно дюже студено под водой-то?

– Эх ты, дуракон, дуракон, – с усмешкой ответил мельник. – Сколько лет на божьем свете прожил, а до сей поры не знаешь, что под водой никогда холодно не бывает. Лед он хуш и холодный, а скрозь себя никогда стужи и не пропускает.

А другой из тристенских озорников задорно попросил:

– Позвольте, дедушка Сила, вас поздравить покулавшись. На водочку бы с вашей милости. А то мы уморились, вам помогавши.

Но мельник даже не поглядел на ерника, его больше занимала ловля.

– Эй, вы! У бредня! – закричал он, свернув руку трубой. – Как дела?

– Идет, идет, дедушка, о-о! Пошел, пошо-о-ол!..

– Ну и слава тебе Господи. А что, Владимир Порфирьич, не одолжишь ли ты мне своего меринка? Я только домой на минуточку съезжу переодеться и кое-чем по хозяйству распорядиться и мигом назад обернусь, к самому улову поспею, к дележке. Без своих-то глаз тристенским мужикам я не больно доверяю. Жуки они. А потом милости прошу тебя с агрономом ко мне пожаловать, чайком побаловаться и малость закусить чем Бог послал.

И вдруг заорал на рыболовов:

– Эй, ты! На левой руке! Чего косишь? Чего косишь-то, а? Держи правая-я-я!